

*Сергей Катков*

## АПОКАЛИПСИС — ВСЕГДА

Медный маятник шатался ровно, бесшумно, то уходя в тень, то выглядывая в лунное пятно, проявляя на своем зацарапанном кругляше лимонно-кислую улыбку блика. Царапины вспыхивали кривыми жесткими волосинками, повторяя движение хозяйской руки, губительно натиравшей время от времени медь часов. Чем-то посторонним, полой одежды или, к примеру, манжетой, то есть совсем не подходящим для сего изящного и старинного инструмента времени. Вот луна подвинулась, заглянула в комнату, и теперь маятник почти не уходил в темноту, раздражая взгляд медью.

Сам хозяин сидел рядом, так что маятниковые часы приходились ему сбоку. Посетитель и по совместительству невинная жертва его внимания находилась напротив, отводя лицо от пристальных взглядов и клубов дыма, временами вспыхивавших из рта сумасшедшего. Как обычно, обмотанный веревкой, — старым, мягким канатом, опухшим и залохматившимся от сырости чердака, — как обычно, с заломленными назад руками, посетитель, превращенный в жертву, привязанный к стулу, посетитель, дрожа, молчал, стараясь слиться с тенью, спрятаться от этой безумно огромной луны в окне, от безумных глаз напротив, сам, сам желая стать непричастной ни к чему тенью. Комнатный сумрак сургучом опечатывал его локоть и кляксами проскакивал выше к лицу, совсем испачканному темнотой. От света папиросы оно изредка прояснялось, и на треснувших очках жертвы запечатлевалась толщина стекла.

— Теперь вы понимаете, в чем дело? — сказал медлительно хозяин, вставая со стула и отходя к окну. — Понимаете, как на самом деле устроена человеческая психология? Я долго искал вас. Одному мне было скучно и непонятно. А теперь в разговоре с вами прояснилось очень многое. Очень многое... Да-а-а... — Старик скри-

повато протянул последнее слово и глубоким, будто уходящим к корням своих темных мыслей вдохом, столетним, падающим в бездну забвения — таким бездонным вдохом старик затянулся папирсой. На стекле новогодним огоньком засветилась точка, лицо его отразилось багряной маской.

Жертва пошевелила шеей, пытаясь сдвинуть толстый канат — натертое пятно горело от содранной кожи. Потом подняла голову и тоже сделала глубокий вдох носом, но воздух в комнате уже был заражен вонючим табаком. Жертва сдавленно закашляла.

— А, вы все еще не согласны, молодой человек? — Хозяин забычковал папиросу в стекло, снова присел и уставился чужими, пьяненькими глазами, иногда перебегая взглядом на беспомощную ложбинку на горле. — Вы все еще не согласны... И так каждый раз. Позвольте такую вещь. Вот я развяжу вас, выброшу этот кляп, может, еще раз чаем напою сладким, а вы пойдете и про меня все расскажете. — Жертва при слове «развяжу» оживилась, а при «расскажете» так горячо запротестовала, как только было возможно со связанными руками и воткнутом в рот кляпом. — Расскажите-расскажите... будьте уверены... сами все и выложите полиции... я-то знаток психологии... Так что нельзя... непозволительная это для меня роскошь — дать вам свободу действий. Теперь ты узник совести... — Внезапно нахлынувшая горечь смыла с голоса старика вежливый баритон. — Теперь ты разделишь и мою участь, и участь всех посвященных. Ведь что? Никто тебя *суда* — он так и произнес, по-старинному твердо «*суда*» вместо «*сюда*», — никто *суда* не волок за грудки. Сам пришел. Значит, интересовался. Сам, значит, интересовался. Значит, и долго думал, маленький мой. Значит, тема и пустила в тебе самые острые, самые ядовитые, маленький мой, ростки... Ростки... слово-то какое забавное. А посуди сам, это серьезная тема. Да-а-а? Серье-е-е-зная-то тема? — игриво-укоризненно пропел старик, покачивая опущенной головой и улыбаясь в темноту.

— Теперь вот что... — продолжил маньяк через пять минут молчания, расхаживая снова возле переплета окна. Между словами мелькали то вспышки новой папирсоы, то уголки бумажки, засвеченной в лунном огне, разгоревшемся, разошедшемся в облаках апрельской полночи. — Вот это ты возьмешь с собой напоследок. — Старик потряс бумажным свитком. — Понесешь, как со-

кровище мысли, многолетних раздумий... дорогие-дорогие, мои обезьянки... как глубь сомнений, уверений и уверований... как... как... — закричал, откашливаясь, — как фараон с символами власти, с моим свитком... милые-милые обезьянки, обезьянки... в будущее, в бесконечность — так пойдешь с моим бесценным даром человечеству. И по дороге, может, что и сам надумаешь... Да... Скажешь, передашь им, значит, обо мне...

Сумасшедший склонил голову, задумчиво пососал нижнюю губу, прищурившись, стрельнул глазом в потолок, и пророкотал своим скрипящим голосом следующее:

— Господа капиталисты... всех мастей, всех уровней... всех... всех... олигархи, магнаты, чертовы биржевые воротилы, местечковые авторитеты, пересчитывающие грязненькие рублики в пахучих бесчисленных провинциальных подворотнях, слепые на душу дельцы, паясничавшие торгаши, купи-продайки, инвесторы, обрюзглые в воскресных халатах рантье, высокомерные держатели валютных бондов, — вы все и все остальные тоже... слушайте! И вы, господа технократы, тоже подтягивайтесь, вам тоже будет интересно узнать, почему сгущается над миром тьма и что там, внизу, в своих рабочих конюшнях, да-да, в трудовых своих конюшнях, там, в офисных стойлах, за заводским верстаком, в спальнях, намоленных убогими снами, — что там обо всем этом думают крошечные обезьяньи мозги. Как в послерабочих сумерках перед телевизором изредка их муравьиные глазки, комариные глазки их, поблескивая неожиданной мыслью, выбивающей из широких, как баштаны, кресел, поворачиваются их глазки к окну и видят за ним надвигающийся ледник. Скрипящий, обдирающий небеса, — и тогда с них сыплется снежная известка, — напоздает, сворачивающий шею природным пространствам, неумолимый ледник. Можете вы себе такое представить? Но вы этого не видите. Ибо перед глазами вашими — поднятые на просвет водяные знаки. За ними сияет солнце, будущее одного-единого дня. Бесконечного, незавершающегося дня прибыли и процветания. Да о чем я вас спрашиваю? Вы же не можете, не способны никаким органом, никаким чутьем не способны этого представить — как реальность, проявленная в виде катастрофы, смотрит в ваши широкоофисные стекла... как Гулливер, как Голиаф выпячива-

ется она и приближает свой пространный — на весь горизонт — лик... обезья-я-я-нки... челове-е-е-чки...

— Все-все вы этого ждете... Один, почитывая «Екклезиаст» и «Апокалипсис», другой — ужасаясь новостям о погоде, третий — просматривая ночные сводки, четвертый, пятый, шестой, седьмой — глаза на столбики цифр о глобальном потеплении, на вспышки демографических взрывов в азиатских странах, на обезвоженные африканские рты, обезводевшие, обезлесившие черепа земных континентов. Вы ждете, прячете глаза, идете на кухню к холодильнику, забываетесь в спальнях, жрете, пьете и, опухшие, снова вглядываетесь в это ужасающее, надвигающееся последнее шоу на Земле.

— А я вот что скажу вам, дорогие технократы... обезьянки... офисные тли... обрюзгшие бюргеры... ничто не ново, и что было, то снова будет. Люди с давних пор ждут этого. Когда же... ваши... ваши... когда же наступит конец. Освобождающий, широченный, благословенный, поющий ангельскими голосами, голубого океанского охвата... борщ... борщ... ядерного цвета... борщ... борщ... закатного цвета ядерного...

Сумасшедший приложил ладони к лицу, словно хотел содрать с него маску, дернул головой — затылком вверх, — подглядывающе подсмотрел сквозь пальцы, улыбнулся и ласково заговорил:

— Скажите, а вы любите шоколад? Нет, не какой-то конкретно. Просто шоколад, шоколад сам по себе. Сам-в-себе, так сказать, шо-ко-лад. Как кантианскую абстракцию. Чувствуете, да? Этот аромат, с цветочной брагой. Белладонный, опьяняющий, magnifique. Вот он струится вам за шиворот, за шею и треплет твой щенячьего пуха загривок. Единственное спасение весной — шоколад и цветы. Желаю провозгласить тост... Противостоять в нашей стране «дуракам и дорогам» невозможно. Немыслимо а ргіогі. Трансцендентно. Поэтому — ad hoc — коллегия из высшего судейского состава, шоколатье раg exellence, выдающиеся мастера цветочного и ароматического купажа, приняла постановление, обязательное для исполнения во всех административных подразделениях. Противостоять вышеуказанным «дуракам и дорогам» преимущественно и главным образом через коробку шоколада и цветы. Мощнейшее средство коммуникации, пробивной, так сказать, таран углубления связей. Нужна вам, скажем, справочка.

Шоколад и цветы! Бегите к ближайшему ларьку, хватайте и несите нужному лицу. Нужно пройти вне очереди? Что вы станете делать? Правильно! Ответ найден! Не вовремя явились? Неправильно пришли? Забыли? Проспали? Средство есть! Пользуйтесь! Во всех ларьках страны! Минуточку-минуточку... не станете же вы нести ромашки и коричневую затвердевшую патоку ему... ему, ему, жесткому, ничего не прощающему — самцу! Нет, дуракам нет альтернативы...

Часы медленно ударили. Раздался медно-янтарный гул, словно дверь в комнату отворилась и из внешнего пространства заглянул посторонний. И все голоса безумца, лицедействующего перед связанным молодым человеком в очках, на стуле, съежились обратно в темноту замершего старческого рта.

Он схватил со стола нож и, подскочив жертве, плоско прижал его к своему лицу. Жарко зашептал:

— Подумай, подумай только, издревле человечество мятется, маяется, мечется, мечтает на самом деле только об одном. Это только днем, при солнечном свете, как школьные учителя, они лицемерят, улыбаются друг дружке, поздравляют, ханжески делятся радостью, хлопают по плечу, смотрят застенчиво в глаза... но это не то! Это все не то. Все в них только и кричит об этом, об этом! Прислушайся! Ночью, во сне, когда подсознание правит свой дьявольский бал, вот тогда-то сквозь сжатые рты, сквозь скрежет зубовный, как из адовой топки силится взорваться животный рык: я! я! я!.. Накормил один человек другого задаром, спас от голода, а сам думает: это я — хороший, я — добрый, заботливый, гуманный! Вот влюбленный просит о взаимности, а на самом деле все в нем кричит: подчинись мне, ибо я так хочу! И хочу я подчинить волю-то твою! И все в мире так, как будто именно оно, каждое, отдельное, как будто только оно — единственное в мире, рвется к единоличной власти, к ненасытному потреблению, к глухому и слепому всезнайству. И поэтому оно, единственное, хочет, чтобы другие — исчезли, сгинули...

Откуда, думаешь, эти мифы о потопах, откуда эсхатологии, хилиазмы, откуда ежегодные предсказания и ожидания все нового и нового, постоянно откладываемого «конца света»? Откуда любимые обществом страшилки о «календарях майя». Думаешь, хотя обновиться? Начать новую жизнь? «Очистимся в эпохальном

огне!» — говорят одни, «Перейдем в новую эру!», — подхватывают следом другие. Да ведь это же ожидание любого, каждого из них: когда же, наконец, — конец?! когда все это завершится и останется, пребудет, утвердится только мое «я»! «я»! «я»!

— Потому что люди устают друг от друга... Обезьянки... добренькие... слабенькие мои приматы... коллеги, натянутые над пропастью... во ржи.— Старик поглаживал большой, мягкой ладонью волосы жертвы и плакал, прижавшись к ней щека к щеке.— Представь, как это будет замечательно, как будет кайфово, когда какой-нибудь спятивший миллионер, решив, что он и есть тот самый «первоединый Адам», о котором талдычат талмудисты тысячи лет, когда он задумает такое... тако-о-о-ое. Соберет у себя в бункере самых умных ученых всех специальностей, скажет: сделайте мне вот то-то и это. Загонит каждого из них вусмерть. Замучает недосыпами и переутомлениями, но своего добьется. И прокатится по миру стометровая волна, и пока не смоеет ну вот хоть всех до одной обезьянок, не выйдет из своего бункера, будет сидеть перед компьютером и жать-жать-жать-жать на кнопку. А потом так элегантно вскрыется дверь, разгонит капли, на лакированный ботинок брызнет струя из-под подошв, как текила на кожуру лимона. И вот он уже мчится со своего острова на розово-кремовом катере, а перед ним вдалеке — опустошенный, сияющий, переливающийся, алмазный, миллионногранный, освобожденный, очищенный от человеческой грязьки город Нью-Йорк... Как бы я хотел быть этим счастливчиком... Бродить по авеню, по стритам... Один, один, как божий перст указующий, как новый Адам в рукотворном новом раю... Все об этом мечтают. Все. Честное слово... Понимаешь, о чем я?.. То, что у середнячка на уме, у воротил сего мира — на деле.

Старик посмотрел на молчащую жертву.

Взял со стола темную комковатую вещь со шнурами. Мякотью большого пальца пощупал тонко наточенное лезвие. Обмотал шнуры вокруг шеи жертвы и бросил вещь ей на живот. Держа нож в зубах, со скрипом стал разворачивать, затем, дергая, двигать стул к большим, похожим на книжную этажерку старинным часам. Не дотащив стул вплотную, открыл часовую дверцу, вынул изо рта нож, приладил в руке, держащей спинку стула. Лезвие оказалось возле лица жертвы. Вспыхнуло лунным бликом.

Луна уже уходила из комнаты, бросая прощальный умиротворяющий взгляд, окропляя дальнюю стену размытым, похожим на боке, неровным решетом света.

Во время возни старик, задыхаясь, то и дело приговаривал:

— Вот еще и наследил... обезьянка... книгочей, понимаешь ли... ищу человека... — Делал тяжелые паузы. — А борщ варить кому... вот тебе на орехи... бабушкин Юрьев день... развели, знаешь ли, грязьку..... человечество должно быть преодолено, гностицизмом ли, гиперболическим умствованием или замести грязьку в угол... но обезьянки же, они же все стерпят...

Падал на колени, трясясь, хватался за воротник юноши, уставясь в тряпку кляпа, оголтело бормотал: «Возьми-возьми письмецо... донеси до них... передай мои слова... пламенные... предупреждение... ты ведь понял, что это предупреждение?.. Ну, хоть чуток ты меня понял? Что-нибудь ты понял?... Ты прости, прости мою старческую суровость... Веревки эти, кляпы, ножи... Я ведь не всегда такой был... Я архивариус, заслуженный библиотекарь, научный сотрудник, автор статей... Я до сих пор пишу. Ты знаешь, пишу. В газеты, в журналы, в-в-в сборники. Люблю писать. От души. От сердца. Разное пишу. Проповеди, стихи, псалмы, пять штук... Они ведь не понимают, не берут, не отвечают... Не хотят слышать, что я прозрел, что я понял их натуру, психологию эгоистическую, тварную... Но ты меня понял, хоть чуточку? Пусть и они теперь. Пусть задумаются, поймут, они ведь поймут, если захотят, пусть они тоже поймут, остановятся, пока не поздно... как в стихах, я последний пророк деревни... Возьми листочек, тебя они послушают, ты молодой, ты ясный, не я, но ты! не я, но ты!»

Тяжело дыша, упал на бок, вытирая пот со лба. С каждым новым разом жертвы становились все тяжелее, тяжелее. Отдышавшись, успокоился, привстал, наклонил, придерживая, стул в пустоту проема, открывшуюся в часах, с размаху ударил по спинке всей длиной лезвия, уперся что было человеческих в нем сил — и вытолкнул-таки жертву в пустоту провала.

И пока она, освобожденная от ненавистных канатов, грохотала в черном зеве шкафа, безумец вопил в ровную, зияющую прямоугольную дыру всем своим старческим надсадом:

— Ловите, господа технократы, еще одного вестника, мессию будущего. Пусть принесет он вам предупреждение и страшное, и истинное. И внимайте, и...

Последнее, что услышал летящий в никуда юноша, освобожденный от уз сумасшедшего, это был огромный, черный, непередаваемый, зловещий, старческий, скрежещущий мат.

Луна ярко светила в окно мансарды старинного особняка в центре Москвы. С улицы могло бы быть видно, как иногда в нем вспыхивал беспокойный уголек папиросы. Но никто не наблюдал за ним в поздний час, и ничего более в нем разглядеть было невозможно.

Особняк, украшенный колоннами с пилястрами и парадным мрамором входного портала, служил архивным хранилищем госбиблиотеки. Через всю заднюю стену дома, выходящую в глухой захламленный двор, сквозным квадратным тоннелем стоял внутренний ход, по которому когда-то поднимали книги. Остроумно использованный этой ночью, он уже давно был очищен от всяких подъемных устройств, вся литература доставлялась открытым наземным способом, да и то совсем не в этот забытый, чуланный угол архива.

Когда молодой человек пришел в себя после страшного, стремительного полета через неизвестность, после падения, он нащупал на земле что-то мягкое, пахнущее сырým тряпьем. Выдернул изо рта обслюнявленный кляп. Шею сдавливали переброшенные через нее веревки, крепившие тяжелый мешок. Отыскав вход внутрь него, облепил ладонями рифленый предмет, неожиданно щелкнувший под напряжением одного из пальцев. Яркая, ледяная вспышка светодиодного фонаря осветила ветошь под ногами — это был навал из древних, как инкунабулы, распоротых по швам школьных матов. По сторонам на расстоянии виднелись грубые, выломанные в земляной породе стены с ветвившимися линиями толстых проводов. Прижатые к земле, перебиваясь поперечными квадратными балками, манили в неизвестность две бордюры рельсов.

«Метро», — пронеслось в голове.

В мешке, кроме фонаря, свитков с пророчествами и предупреждениями сумасшедшего деда, болталась баклажка с водой, полхлеба и отксеренная схема секретного метро.

Юноша шел, спотыкаясь о шпалы, прислушиваясь к коротким шагам эха, маршрутовавшим вокруг него, вглядываясь в границу фонарного света, раструбом тыкавшимся в стены подземелья. Не-

стерпимо болела голова. Хотелось лечь, свернуться в точку и уснуть прямо на шпалах. Он остановился, снова достал бумажку, задумавшись, сопротивляясь сну, стал ее рассматривать. Через несколько минут до него дошло, что он ничего не может понять в этой чужой, не похожей на карту московского метрополитена схеме печатной платы, где вместо названий станций замыленным шрифтом раздваивались латинские буквы.

Сунув карту обратно, поплелся дальше по тоннелю, раздуывая.

События ночи, решил он, не могут быть реальностью. Реальность не может быть таким бредом, жизнь не может быть настолько бредовой последовательностью событий. Но по порядку. Рационально. Начнем с начала. С самого начала.

«Допустим, я пишу диссертационную работу по теме “Эсхатологические ожидания: Русь, Европа и Америки. Диахронический и синхронический аспекты в свете новейшей науки о психологии”. Допустим, тема дурная, я говорил об этом научному. Допустим, все это культурология и “бумага стерпит”, как отвечает обычно на это научный. Дальше. В ходе расширения библиографической базы я решил привлечь ранее неизвестные источники. Это хорошо. Это правильно. Разумно. Но раз так, то самыми неисследованными источниками являются — какие? Правильно! Источники не Северной и не Южной Америки, и даже не Мезоамерики. Но Африки! Хотя тут есть одно “но”. Африка меня интересовать не должна. Так вот, есть догоны, странное такое африканское племя. Да. И вот с этого момента начинается нелогичное... нелогическое развитие событий. Вместо того чтобы оставить без внимания объявление в газете, я повелся на эту приманку. “Эсхатологическая картина мира догонов” — звучит само по себе уже дико. Но могло бы пригодиться, в конце концов. Лекция по эсхатологии догонов в старом архивном здании. Дурацкий старик в балахоне при входе. Здание, полузаброшенное. Хоть сейчас на снос. Уже одно это должно было насторожить. Лестница, полуобрушенная. Угощение чаем... сладкий чай...»

Догадка, что ему подмешали в чай снотворное, почему-то ошеломила юношу до слез. С ним поступили, как... как... как с куклой!

Впереди, словно опора моста, засветилась стена, разделявшая развилку. Постояв, шатаясь, в сыром воздухе, он безо всякой уверенности повернул налево.

«И потом он связал меня. Засунул кляп. Посадил на стул. Или я был на стуле с самого начала?.. И понеслось! Весь этот бред! Этот долбанутый дед, брызжущий слюной! Я не понял, что он говорил? Что он говорил, гребаный дед? Екклезиаст, обезьяны, капиталисты, технократы... Какой-то... кккххх... дерьмо какое-то... мразь, просто мразь... и как все складно... Небось, сто лет сидит в своем сральнике и только об этом и думает. “Эгоизм”! “Один я такой”! Да ни хрена он не знает, не может он ни хрена знать. Сидит на своем толчке и и-и-и... извращенец».

Его вдруг бросило в жар. Ухмылка сумасшедшего, как будто летающая маска, впиалась в воображение, и события ночи какой-то отстраненной кинолентой промелькнули перед мысленным взглядом.

«А вдруг он прав? Вот этот чокнутый — вдруг правее всех правых? Ведь он как-то живет, существует на своем плане бытия. И вот пока я не приблизился к этому плану, мне было все по хрен. А как только вступил на него, реальность этого плана стала и моей реальностью. Не надо было идти на догонов. Ну, их к хренам собачьим. Все с этого началось. Вот так сделаешь в жизни один неправильный, сомнамбулический шаг, и все завертится перед глазами, как на дикой сатанинской ярмарке. Как будто катишься по ледяной железной горке и ничего не можешь с этим поделывать, ни за что невозможно зацепиться. Невероятно. Так и есть. Я сидел со связанными руками. С кляпом во рту. Ничего не мог поделывать. Это не мой план бытия... Но... Он, может, в конце концов, быть и правым... Откуда мне знать точно... Может, он — прозревший пророк, то есть, мысля научно-рациональными категориями, человек, интуитивно уловивший фундаментальные связи в обход научной парадигмы. Ну, там, благодаря своему синтетическому типу мышления. Ведь так и есть. Эгоизм. Эготизм. Эгоцентризм. Он прав, конечно. Он долго думал. Писал. А потом сошел с ума, бедняжка... Обезьянки-обезьянки, говорит. Дарвинист, что ли? Гря-я-я-язька! Выдумал это все, конечно. Но все равно прав. Его можно понять. По своему, конечно. Мятежный дух».

И только сейчас начинающий аспирант вспомнил про священный, пророческий свиток, упокоенный в мешке прямо у него в руках. Посветил внутрь мешка, вытащил, развернул. Рукопись. Его удивило, что совсем небольшая. Присел на рельсы.

Ему стало тоскливо и одиноко. Там, у старика, было хоть

какое-то помещение. Жилище. Ну и человек он хоть и сумасшедший, а все равно живая душа. А здесь? Холодно, сыро, темнота непереносимая, одиночество, неизвестно, где выход. И есть ли он вообще. Ему вдруг захотелось туда, наверх, к безумцу. Он почувствовал, что там, связанному, с кляпом во рту, ему было не то что каким-либо образом хорошо. Нет, совсем было плохо. Но как бы это выразиться... Он поерзал плечами. Ему было — интересно! Да, хотелось даже поговорить, поспорить, высказать свое мнение. А здесь? Перед ним простиралась неизвестность. Как в обыденной, рутинной жизни. Туннель дней, месяцев. Нормальность. Пошлая нормальность. Бестворческое непроглядное существование... Идешь вот, думаешь, впереди — выход. Завершение диссертации. Защита. Научная работа. А оно ему нужно? Оно ему интересно? Чем это не такое же блуждание в темноте? С жалким фонариком, с подложной картой. Куда ему идти в жизни?

Юноша присел на рельсу, положил рядом мешок. Между головой и плечом зажал фонарь. На колени примостил рукопись, в которой изящный почерк, уложенный на воображаемые линии, повествовал о чем-то самом важном и пока неизвестном. Эта была надежда. Он достал баклажку с водой и хлеб. Откусил, пригубил. Начал читать.

Было тихо. Хлеб был сухой, несмотря на воду, и трудно лез в горло. Казалось, его сжимали спазмы. То ли смеха, то ли беззвучных, сухих, фантомных слез. В письме человечеству было послано:

«Здравствйте, Дорогой, Иван Ильич! Летом у нас хорошо, липы цветут нежно и одаривают каждого постояльца пансионата своими желтого лимонными цветиками. Здоровье наше поправляется, так говорит доктор врач высшей катеории психиатор Завьялов. Того и гляди выпишут раньше времени и придется мне старому пердуну ийти и ехать потом до Москвы в одним подштанниках и халате без начеса. Потому что Машенька и Петеньки еще не вертнулись из отпуска из Крыма, а всю одежду пиджак, брюки, атласную сорочку и даже носки с лаковыми туфлями они забрали с собой, наобещав привезти новое. Если поправде, Иван Ильич тут мне хорошо уже очень спокойно! Я ничего не читаю, кроме местного препоганого листка, которою выпускают какието кретины сектанты. Чего и Вас желаю! Будьте здоровы и пейте только кипяченую воду.

Искренне Ваш И. В.С. Натощак»